

Культура. — 1998. —
24-30 дек. — с. 8

Великий "Гном"

Рецитал Валерия Афанасьева

Исторический анекдот. После одной из выставок Репин и Суриков вышли вместе из музея. Ходили по Красной площади, стояли возле памятника Минину и Пожарскому. Около Спасских ворот Кремля шла торговля книгами, открытками и — новинка тех дней — фоторепродукциями.

— Илья Репин — "Арестант в деревне", — кричал офеня над большим лубяным коробом. — Илья Репин — "Грозный Иван убивает сына Ваню..."

— Вот, — сказал Суриков, — такая, дружище, и бывает народная слава...

Это я к чему? Недавно в Москве известный эмигрант-пианист показывал нечто. В афише стояло: Валерий Афанасьев. "Картинки с выставки". Комедия в одном действии. (Без имени композитора). На языке народной славы описание концерта звучит так. В консерватории на сцене рядом с роялем поставили столик с вином и водкой без закуски. Рядом на стул (красивый такой, старинный, из ложи взяли) положили халат. И вот между "картинками с выставки" (настоящими, Мусоргского) Афанасьев вскакивал из-за рояля, надевал халат, выпивал, рассказывал про Мусоргского, потом снимал халат, быстро шел к роялю и играл следующий номер. И так все время бегал туда-сюда, говорил и говорил, снимал и надевал, а в перерывах играл.

— А ушел в халате? — В халате.

К эпатажу публики действо на самом деле не имело ни малейшего отношения. Как видно, музыкант, достигший в своем деле почти максимума, решил раздвинуть границы чистого ремесла. Попробуйте меня, если я ошибаюсь, но с такой яркостью и с такими блестящими знаниями тасовал историю музыки, по воспоминаниям, только Генрих Нейгауз на своих уроках в консерватории и репетициях. На сцене — нет, конечно.

Прежде чем рассказать, какие такие комические пассы совершал

Валерий Афанасьев между "Прогулкой" и "Гномом" или между "Балетом невылупившихся птенцов" и "Двумя евреями", не забыть бы маленькую, но дорогую часть его программы. Перед вычурным многословным представлением шла чисто музыкальная увертюра, состоявшая из нескольких, следующих друг за дружкой прелюдий Дебюсси, Прокофьева и Шостаковича. Их никто не объявлял, и сыграны они были в полном молчании. (Представить даже невозможно шуршащую ведущую, кукольно выговаривающую опус и тональность. Все пропало бы, понимаете?) Эта немая тишина, в которой жили своей жизнью несколько родных друг другу миниатюр, гениально сцепленных шурупчиками и шайбочками звуковых ассоциаций, которые может придумать лишь умелец от Бога. Тишина? А если эта тишина — тоже слово?

Вспомним, как начинает Афанасьев свои разговоры о Мусоргском: "Вот так мы его воображаем. Знаменитый портрет кисти Репина изображает Мусоргского в халате, сидящим в госпитале. Мир — огромный госпиталь. Каждый пессимист это знает. Смотрит наискось, не на нас, в сторону, будто не верит в свое будущее. Взлохмаченные волосы, багровый распухший нос". Конечно, серый казенный халат с красными отворотами, в котором позировал ослабевший гений, не похож на алое атласное портновское творение, в которое облачается сибарит Афанасьев. И голубоватый фон окна, на широком подоконнике которого он сидел, совсем не похож на стройную картинку органных труб в глубине Большого зала Московской консерватории. Правда, шоу это не мешает. Но мы вернемся к тишине. Известно, что Репин провел в Николаевском военном госпитале целиком четыре дня, используя все светлые февральские часы для работы. Во время портретных сеансов оба художника

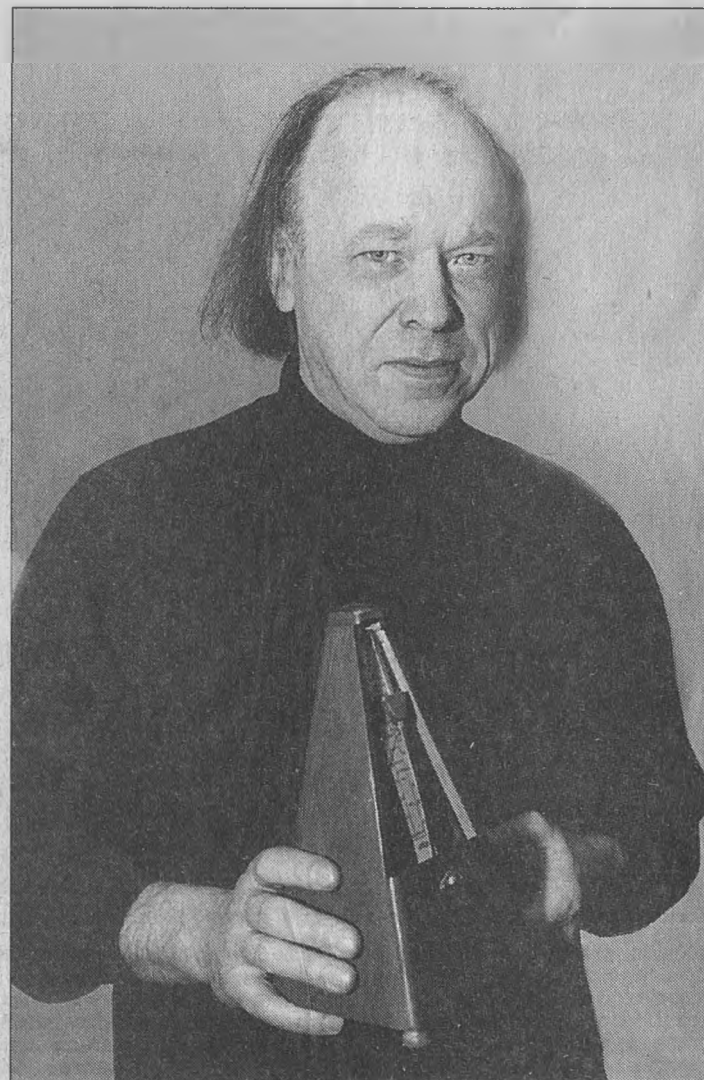


Фото Н. Юсуповой

молчали. Один слышал свою музыку, второй — того, кто ее слушал. Монументальная и одновременно очень нежная, интимная получилась вещь. Созданная в полной тишине.

И зачем бы иначе Афанасьеву все эти прелюдии, как не для чу-

точку знающего слушателя? Не для объема же, наверное.

Потом началась срежиссированная часть представления. К "Прогулке" мы подошли после версии о том, что Мусоргский пил так, как пьют страдальцы, и соответ-

ственно не так, как эпикурейцы (с

иллюстрациями с помощью бокала и стопки). Убедив нас, что страдальцы пьют исключительно с целью перехода в иное измерение, и походя приведя разгромные слова Чайковского о "Борисе Годунове", Афанасьев рассказал о тяжелом бытовом эпизоде: хозяйка выбросила вещи Мусоргского на улицу. "Дважды повернулся ключ в замке", и пианист приступил к своим прямым обязанностям.

Возвращалась же "Прогулка" не как известный каждому школьнику изначальный проход композитора по выставке Гартмана от картинки к картинке, нет, а как полет на Луну, не менее. "Искусство — бесконечное, нескончаемое путешествие по горам, по долам. Ландшафты его мозга были призрачны и далеки, подобно лунным кратерам".

Перед "Старым замком" пианист перевоплотился в самого Мусоргского: "Что здесь происходит? Моя музыка? Я не то хотел сказать, когда сочинял "Картинки"... Что я хотел сказать, что я имел в виду? Не помню. Но не это! Уверен, что не это! Слишком медленно... Скучища... Ничего удивительного, что все ругают мою музыку. Кто ангажировал этого пианиста. Сайковский? Дабы выставить меня на посмеишие всей Руси!" А потом (это оказалось полечнее) в теоретика искусства: "Старый замок каждый день надо строить, на каждом концерте. С мертвыми на живом языке (парафраз заметно нравится публике). Каждому свой старый замок". Еще он обещал невылупившимся птенцам каждому свой макдональдс и мавританский сериал.

"Замок" же, как страничка Мусоргского, как чистое искусство, предстал маленьким шедевром. Арка от него богатой радугой протянулась к началу программы, "Затонувшему собору" Дебюсси и прелюдии es-moll Шостаковича.

Дальше начались вещи нешуточные. "Русский народ. Оборванный, голодный. Девятнадцатый век, двадцатый. Ничего не меняет-

ся. Будто упразднили время. Та же телега. Тот же бык. "Быдло". Далее в духе Солженицына. Вся "политическая" часть произвела впечатление больше литературное, чем музыкальное. Пафос оставался пафосом, слова жгли мирную и безобидную консерваторскую публику, но музыка средних в композиции картинок пострадала, так как требовала от пальцев большого хладнокровия. Пианист в России больше, чем пианист, это мы поняли, но пророкам трудно говорить красиво. Ведь, когда форсируешь голос, ничего не остается от тембра.

Великолепными были "Катакомбы". Гармония музыки и слова (хоть и по части ярости) возникла и больше не исчезала. Казалось, не камерная миниатюра звучит, а опера, сгусток драмы. "Каждая нота одета словом", — как любил говорить Борис Хайкин. Тут уж совсем пропали манеры, атласный халат и лакированные ботинки. Музыкант все больше брал свое у себя самого. "Избушка на курьих ножках (Баба Яга)" совершенно была бесподобна, и странный комментарий ей не помешал. ("Идеальный мир существует лишь в нашем воображении, либо под водой, как Атлантида, либо в каком-нибудь госпитале, либо в непролазном лесу на Лысой горе (?), где художник творит свои загадочные, инопланетные опусы. По ту сторону зла и тупости").

Венчали нашу специфическую комедию "Богатырские ворота" — лучшие в моей жизни, не сопровождаемые ни единым словом, но более других говорящие. Сложнейшая, как собор Святого Петра, архитектура обертонов, знаменитые афанасьевские вскидывания рук-птиц, смесь (не сплав!) острomodного и вечного — "нечто не слишком", как говорил популярный литературный герой.

Ирина КОСМИНСКАЯ